

Алексей Писемский

Батяка

Писемский Алексей Батька

Алексей Феофилактович Писемский

Батька

Рассказ

{1} - Так обозначены ссылки на примечания соответствующей страницы.

I

Я как теперь вижу перед собой нашу голубую деревенскую гостиную. На среднем столе горят две свечи. На одном конце его сидит матушка, всегда немного чопорная, в накрахмаленном чепце и воротничках и с чулком в руке. Отвротясь от нее, сидит на другом конце покойный отец. Он, видимо, в дурном расположении духа и беспрестанно закидывает в сторону, на печку, свои серые навывкате глаза. Я... мне всего лет двенадцать... забрался в углу на мягкое кресло и сажу погруженный в неведомые самому для меня мысли. Прямо против меня отворенная дверь в залу. Оттуда только и слышится, что ровное пощелкивание маятника стенных часов, и навевает на вас чем-то грустным и печальным. Вдруг раздался тихий скрип половиц. Не знаю, отчего у меня как-то болезненно замерло сердце. Это входил своей осторожной походкой наш са-

мый богатый из всей вотчины фомкинский мужик Михайло Евплов, старик самой почтенной наружности, всегда ходивший несколько брюхом вперед, с низко-низко опущенной пазухой, совсем уж седой, с густо нависшими бровями и с постоянно почти опущенными в землю глазами, всегда с расчесанной головой и бородой, всегда в чистом решменском кафтане и не в очень грязных сапогах. Даже руки у него были какие-то белые, нежные, покрытые только небольшими веснушками, точно он никогда никакой черной работы и не работал. Будучи верст на тридцать единственным мясным торговцем, Михайло Евплов вряд ли в околотке был не известнее, чем мой покойный отец, так что тот иногда в шутку говаривал своим знакомым:

"Честь имею рекомендоваться, я Михайла Евплова барин".

В нашем небогатом деревенском хозяйстве, сколько я теперь могу припомнить, Михайло был решительно благодетельным гением: случалась ли надобность отдать в работники пьянчужку-недоимщика, Михайло Евплов брал его к себе и уж выжимал из него

коку с соком, приходила ли нужда в деньгах, прямо брали их займы у Михайла Евплова, нужно ли было отправить рекрутство, подать ревизские сказки{523}, Михайло Евплов ехал, хлопотал, исполнял все это аккуратнейшим образом, не получая себе за то никакого возмездия, а, напротив того, платя чуть ли еще не в полтора раза более против других оброка. На этот раз вслед за ним" вошел сын его Тимка, совсем рабочий малый, лет двадцати двух, подслеповатый, нескладный, словно из какого-нибудь сучковатого дерева сделанный, и с год перед тем только что женившийся. Батяка, говорят, лет еще с десяти начал заставлять его бить скотину и теперь постоянно мормя-морил на работе. Войдя в комнату, Тимка прямо, не поднимая ни головы, ни глаз, как-то механически поклонился матушке в ноги. Та потупилась и повела только рукою, желая тем показать, чтобы он этого не делал. Тимофей перешел и поклонился отцу в ноги. Тот отвернулся от него и окончательно закинул глаза на потолок.

- Что, поучили? - спросил он несколько дрожащим голосом.

Тимофей ничего не отвечал, а молча отошел и встал несколько поодаль от батьки.

- Поучили, кажется, хорошо... Не знаю только, поймет ли то, проговорил Михайло Евплов грустным тоном.

- Это за то тебе, - продолжал покойный батюшка (голос его не переставал дрожать), - за то, что не смей поднимать руки на отца. Не прав он, бог с него спросит, а не ты...

Михайло Евплов вздохнул на всю комнату.

- Мало они что-то это разумеют, в каждом пустяке только и ладят, что нельзя ли как отцу горло переесть... - сказал он и еще грустнее склонил голову на сторону.

- Ну, Михайло Евплов! - вмешалась в разговор уж матушка. - Трудно тоже, как и тебя посудить? Старший сын у тебя охотой в солдаты пошел, второй спился да головой вершил, наконец, и с третьим то же выходит?

На последних словах она развела в недоумении руками.

Лицо Михайла Евплова сделалось окончательно умиленным.

- Ай, матушка, Авдотья Алексеевна! - воскликнул он почти плачущим голосом. - На все

тоже божья власть есть: кто в детях находит утешение, а кто и печали... Вы сами имеете дитя: как знать, худ ли, хорош ли он супротив вас будет.

Матушка вспыхнула.

- Ну, мое дитя ты привел тут напрасно... совершенно напрасно! - сказала она и сердито понюхала табаку.

Михайло Евплов тоже сконфузился, видя, что, не думая и не желая того, он проврался.

- Это точно что-с... - проговорил он и переступил с ноги на ногу.

- Ежели ты опять то же будешь делать, опять тебе то же будет!.. обратился покойный отец снова к парню, гораздо уже подбрее, но все еще, видно, желая втолковать ему, что он виноват.

Парень пораспустился.

- Мне бы, бачка Филат Гаврилыч, в раздел охота идти-с! - произнес он каким-то необыкновенно наивным голосом.

Все мускулы в лице отца подернуло. Я видел, что он страшно вспыхнул.

- Не позволят вам того! - больше прошипел он, чем проговорил, между тем как щеки и гу-

бы его дрожали. - Казенным крестьянам велют делиться? Велят? спрашивал он, обращая на парня страшный взгляд.

Михайло Евплов грустно усмехнулся.

- Да прикажите, пускай попробуют... Мякины-то отродясь не едали, а тут, может, и отведают... Теперь какой-нибудь овинишко в двадцать снопов с своей благоверной измолотят, лопать-то придут, в чашку валят, сколько только чрево стерпит.

- Что ж ты их куском уж хлеба попрекаешь? - вмешалась в разговор опять матушка.

Михайло Евплов сейчас же переменял тон.

- Не попрекаю я, сударыня, нет-с! - отвечал он кротко. - Ни в чем им от меня запрету нет: ни в пище, ни в одежде, ни в гуляньях. Пусть скажут, в чем им, хоть сколько ни на есть, от меня возбранено.

- Ну да! В чем вам от него возбранено? - повторил за ним и отец.

Тимофей жалобно и стыдливо посмотрел на него.

- Не могу я, бачка, про то сказывать-с! - отвечал он и как-то странно засеменил руками.

- Отчего не сказывать? Говори! - сказал

отец настойчиво.

Михайло Евплов как будто бы слегка вспыхнул.

- Выдумать да наболтать, пожалуй, всяких пустяков можно... - произнес он.

Тимофей молчал.

Матушка на этом месте встала и вышла. Отцу тоже, видно, была не совсем легка эта сцена.

- Ну, ступайте! - сказал он, закидывая, по обыкновению, глаза в сторону.

Михайло Евплов, однако, не трогался. Он, кажется, переживал, чтобы первый пошел сын. По лицу Тимки мне показалось, что он хотел что-то сказать, но не смел ли, или не хотел этого сделать, только круто повернулся и пошел.

- Вы уж, батюшка, сделайте милость, прикажите, чтоб и супружница его слушалась и не фыркала... - сказал Михайло Евплов.

- Чтоб и супружница слушалась, слышь! - повторил отец, грозя Тимке пальцем.

Но тот ничего не отвечал, и я слышал, что он сердито хлопнул в лакейской дверями.

Михайло Евплов постоял еще несколько

времени, покачал в раздумье головой и проговорил:

- Такой этот нынче молодой народ стал, что срам только один с ним.

Но, видя, что отец ничего ему не отвечает, он тоже повернулся и пошел, - но залу стал проходить медленно, неторопливо и все точно к чему-то прислушиваясь.

II

Прошло времени недели с две. Мы ужинали. Отец (он все это время был заметно в дурном расположении духа и теперь кидаящий то туда, то сюда свой беспокойный взгляд) вдруг побледнел и, проворно вставая, проговорил:

- Фомкино горит!

Мы взглянули по направлению его глаз: все наши окна были залиты заревом.

- Батюшка, может быть, это овин! - хотела было успокоить его матушка.

- Вся деревня, сударыня, в огне!.. Выдумала!.. Лошадь мне! - кричал старик, проворно сбрасывая с себя халат.

Матушка сама стала ему подавать одеваться: горничная прислуга вся уж разбежалась

по избам, чтобы поразузнать и поохать на-
счет пожару. В залу вошел наш приказчик
Кирьян, со своей обычной, не совсем умной и
озабоченной рожой и теперь совсем опешив-
ший от страху.

- В Фомкине несчастье-с! - проговорил он.

- Людей туда!.. Лошадь мне! - говорил ба-
тюшка, застегивая дрожащими руками свой
полевой чепан.

Мне тоже захотелось съездить на пожар.

- Папаша, возьми меня! - запросился я.

- Перестань, пащенок! - прикрикнул было
на меня старик.

Но я не отставал:

- Папаша, возьми!

- Ах ты!.. Ну, поезжай!

Он вообще любил несколько геройские с
моей стороны выходки; но матушка напро-
тив.

- Алексей, что ты хочешь со мной делать?..

Пощади ты меня хоть сколько-нибудь! - сказа-
ла она в одно и то же время строгим и умоля-
ющим голосом.

Но я уже почти не слышал ее: выбежав на
улицу и видя, что поваренок Гришка вел осед-

ланную лошадь, я отнял ее у него и сейчас же на нее взгромоздился. Со стороны от Фомкина слышался наносимый ветром беспорядочный звон набатного колокола. Через несколько минут привели и отцу беговые дрожки. Точно молоденький мальчик, он проворно, хоть и тяжело, опустился на них. Человек шесть дворовых людей было около нас верхами. На крыльце появилась матушка.

- Возьмите неопалимую купину, что вы, на кого надеетесь? - сказала она.

Кирьян подъехал к ней и, приняв у нее образ, положил его, перекрестясь, за пазуху. Пока мы съезжали со двора, матушка не переставала нас крестить вслед. Проехать нам надобно было версты две - три лесом. Ночь была осенняя, темная. Несмотря на колеи и рытвины, отец погнал свою лошадь что есть духу. Мы скакали за ним. По всем направлениям от нас раздавался топот наших лошадей и слышались шлепки летевшей из-под копыт их грязи. Рядом же с нами и нисколько не отставая, бежал вприскокку спешенный мною с лошади Гришка-поваренок и бежал, надобно сказать, сохраняя ужасно гордый вид, кото-

рый был дан ему как бы от природы, вследствие покривленного в детстве позвоночного столба.

- Ату, ату его! - травил его кучер Петр, доставая в спину ветвиной.

- Это он на дымок бежит... поварская душонка: услышал, что гарью-то пахнет, - заметил ткач Семен.

По другую сторону дороги шел более солидный разговор.

- В сеннике у Евплова загорелось и пошло, братец ты мой, вить, боже ты мой! - говорил Кирьян.

- Ишь ты, поди, где греху-то быть! - отвечал ему на это басом и со вздохом другой голос.

Набат становился все слышнее и слышнее. Сколько ни печальное ожидало нас впереди зрелище, но при этом быстром скаканье на лошади, в глухую ночь, в лесу, при этом хлопанье воротец, которые кучер Петр на всем маху, не слезая с лошади, отворял и так же быстро отпускал их, мое детское сердце исполнилось какой-то злобной радостью: мне так и хотелось битв, опасностей и побед. При въезде в открытое поле первое, что предста-

вилось нам, - это стоявшая несколько поодаль от селения, на совершенно темном фоне, белая церковь, освещенная пожаром до малейших архитектурных подробностей и с блистающими красноватым светом главами и крестами. Пламя выходило почти из половины деревни и, склоняемое ветром, уже зализывало огромными языками близстоящие к нему строения. Вверху над всем этим клубился сероватый дым, в котором летали чего-то огненные куски и кружились какие-то белые птицы. В самом селении перед пламенем мелькали черные фигуры мужиков и баб. Отовсюду слышался шум и гам, сливавшийся со звоном колокола. Сидевшие около вынесенных на середину улицы пожитков старухи и ребятишки выли и ревели. Выгнанная из хлевов скотина: коровы и лошади, - все столпились в кучку и, заметно под влиянием какого-то непонятного для них страха, прижались к церковной ограде, - одни только дурь-овцы, тоже скучившиеся в одно стадо и кинувшиеся было сначала прямо на огонь, но шугнутые оттуда двумя - тремя взвизгнувшими бабенками, неслись теперь далеко-далеко

в поле. Перед сгоревшим почти уже вполонину домом Михайла Евплова была целая толпа людей, и они не унимали пожара, а на что-то такое друг через дружку заглядывали, и несколько голосов говорило: "Полно!.. Перестань!.. Старый!" Посреди всего этого раздавалось: "Пустите!.. Пустите!"

Мы быстро подъехали: это Михайло Евплов рвался из рук двух наших мужиков. Спокойной наружности в нем и следа не оставалось: он был в одной разорванной рубахе, босиком, с обезумевшими глазами и с опаленными, включенными волосами.

- Что такое? - спросил отец.

- В огонь рвется, сгореть хочет, - отвечал один из мужиков. - О дьявол, какой здоровый! - прибавил он, гробаздая снова старика за ворот, который тот было у него вырвал.

- Оттащите его подальше, в лес, - приказал отец.

- Батюшка, пусти!.. Пусти!.. - кричал Михайло Евплов.

Но мужики его потащили. Сделав еще раз тщетное усилие вырваться у них, он завопил, как дикий зверь, и вцепился зубами в соб-

ственную руку - кровь фонтаном брызнула из-под его рта и усов. Мужики отвели ему эту руку назад за спину и продолжали его тащить.

- Батюшки! У Матрены Лукояновны уж загорелось! - раздался пронзительный женский голос.

Все бросились туда.

Покойный отец тоже проворно соскочил с дрозжек и потом - уж я не знаю, как это и случилось при его полноте, - вдруг очутился на крыше этой самой избы.

- Снимайте кафтаны, мочите их и давайте сюда! - командовал он оттуда.

Первый бросился ему помогать самый бедный из всей деревни мужик Спиридон, по фамилии Кутузов. Собственная изба его давно уже сгорела, и он, кажется, из нее и вынести ничего не успел, но, несмотря на то, несколько не потерявшись, начал он усерднейшим образом подавать воду, понукать и ругать других мужиков и особенно баб, что-нибудь не по его или непроворно делавших.

Кирьян между тем достал из-за пазухи неопалимую купину и, взяв ее на руки, как

обыкновенно носят иконы, стал с нею обходить еще не загоревшуюся часть селения. Вдруг пламя из косога направления приняло прямое, поколебалось несколько минут и снова склонилось, но уже в поле, в сторону, противоположную от деревни.

- Господи! Полямя-то на лес пошло!.. Царица небесная! - заголосили бабы.

Мужики только молча перекрестились. Отец, молодцевато и скрестивши руки, стоял на крыше. Я же и Кутузов, бог уж знает для чего, ухвативши - он с одного конца багром, а я с другого кочергой, - тащили горящее бревно. Оно, наконец, рухнуло и жестоко ударило одну бабу по боку, так что она кувыркнулась и не преминула нам объяснить: "Ой, дьяволы, лешие экие!" Бревно порядком задело и меня, так что я едва выцарапал из-под него ноги. Правая штанина у меня загорелась, и, только уж плюя на нее и обжегши все себе руки, я успел ее затушить. Все это видевший с крыши отец побледнел.

- Ступай, глупой мальчишка, домой! - закричал он, заскрежетав зубами.

Я было вздумал отпрашиваться.

- Мать беспокоится, а он тут... Петр, отвези его домой! - говорил старик, выходя из себя и грозя мне кулаками.

- Поедемте, судырь! Что тут барчику делать! - посоветовал мне и Петр.

Я, делать нечего, взмогился на своего коня и отправился. Петр последовал за мной. Я всегда любил бывать с этим человеком за его веселый и разговорчивый характер.

- Что, Михайло Евплов плачет еще? - спросил я его.

- Поуняли маненько, поукачали... раза три в огонь-то врывался: все хотелось кубышку-то с деньгами выцарапать.

- А много денег у него было?

- Много, черт его дери, накопил... тысяч десять, говорят, было...

- А сын его Тимка - тоже плачет?

- Да, тут тоже присутствует, - отвечал Петр, - только слез-то не больно что-то видать у него, - прибавил он как бы в некотором размышлении.

Я дал шпоры лошади и поскакал марш-марш.

- Тише, тише, барин! Право, маменьке ска-

жу! - говорил Петр.

Но я знал, что он не скажет.

Матушка нас встретила только что не на крыльце.

- И не стыдно тебе, не грех так меня мучить? - сказала она.

Я поспешил поцеловать у ней руку и стал ей представлять почти в лицах, как огонь горел, как Михайло Евплов плакал.

- Ну, не говори... будет! - произнесла она, махая мне рукой и сама готовая почти разрыдаться.

Видневшееся из наших окон пламя все становилось меньше и меньше. Через час после того приехал и отец. Загрязненный, залитый почти с ног до головы водой и чем-то, должно быть, еще более раздраженный, он шумно вошел в залу. Вслед за ним поваренок Гришка, вспотевший, как мокрая мышь, и с закоптелым лицом Кирьян ввели под руки Михайла Евплова. Он был в чьем-то чужом полушубчишке, весь дрожал; рука и лицо его были в крови.

- Посадите его тут! - сказал отец.

- Его надобно напоить чаем или мятой: он

весь продрог! - сказала матушка.

Несчастный старик замотал головой.

- Нет, матушка: водочки дай! Дай водочки! - проговорил он.

Матушка поспешно пошла и сама принесла ему целый стакан.

Михайло Евплов выпил его дрожащими губами из ее рук. Она после того хотела было подать ему кусок пирога, но он молча отвел его руками.

- Сведите его в людскую, да чтобы он не сделал там чего-нибудь над собой - я с тебя спрошу, - сказал отец Кирьяну.

Тот с Гришкой хотел было поднять Михайла, но он не дался им и повалился отцу в ноги.

- Батюшки, благодетели мои! Не оставьте меня, несчастного! - стонал он.

- О старый дурак! Сказано, что не оставят бога только гневит, вспыллил отец, между тем как у него у самого текли по щекам слезы.

- И ее, злодейку, накажите, и ее! - бормотал Михайло Евплов, ползая по полу и хватая отца за ноги.

- И ее накажут! Отведите его! - говорил тот,

едва сдерживая себя.

Гришка и Кирьян подняли, наконец, бедного старика и увели.

Меня вскоре после этого послали спать, но я долго еще слышал из своей маленькой комнаты, что отец и мать разговаривали.

- Поджог! - говорил тот своим отрывистым тоном.

- Господи помилуй! - восклицала на это матушка.

- Невестушка... сынок... - повторял несколько раз отец.

- Боже ты мой, царица небесная! - говорила матушка.

III

Проснувшись на другой день поутру, я услышал по всему дому какое-то шушуканье и торопливую хлопотню. Гришка-поваренок, между прочею своею службою обязанный меня одевать, пришел, по обыкновению, с сапогами в руках и с глупо форсистой рожей остановился у косяка.

- Что там такое шумят? - спросил я его.

- Папенька ваш в город уехали-с, - отвечал он, почему-то еще гордее поднимая голову.

Я всегда был очень доволен, когда отец куда-нибудь уезжал: его суровость, его желчное и постоянно раздраженное состояние духа, готовое каждую минуту вспыхнуть, пугали меня, а потому и на этот раз, исполнившись мгновенно овладевшим мною восторгом, я начал перевертываться на постели на спину, на грудь и задрыгал ногами, приговаривая:

- Зачем он уехал, зачем?

- Не знаю-с! - отвечал Гришка и, наскучив, вероятно, стоять передо мной, сдернул с меня одеяло и урезонивал меня:

- Перестаньте баловать-то!.. Надевайте сапожки-то!.. Мне стряпать пора.

- Я сегодня приду к тебе в кухню, приду... приду... - напевал я.

- Я сегодня не в кухне стряпаю, а у бабушки Афимьи, - отвечал Гришка и самолюбиво закинул свое рыло в сторону.

- А вот врешь, врешь, - перебил я его, думая, что он хочет только от меня отделаться.

- Право-с! - повторил Гришка. - В кухню-то Тимофея с хозяйкой под караул посадили, - прибавил он уже мрачным голосом.

- За что?

- Папенька приказали-с...

Последнее слово Гришка протянул.

- А Михайло Евплов где?

- В людской лежит... стонет таково на всю избу.

У меня вдруг пропала вся моя веселость; я молча оделся, молча и тихо вышел. В девичьей сидела наша старуха ключница Афимья и старательно-старательно пряла. Это было всегда признаком, что она до бесконечности злилась.

- Афимья! За что Тимофея с женой под караул посадили? - спросил я ее таинственно.

- Не знаю, сударь! - отвечала она явно укоризненным тоном.

- Ну вот! Не может быть, скажи!

- Не знаю, батюшка... папенькина воля! - повторила она и вздохнула.

Семья Михайла Евплова приходилась ей сродни.

Я отправился на улицу. День был ясный, светлый; осеннее солнце грело точно средь лета; вновь подросшая на красном дворе после недавнего дождя трава свежо зеленела; в воздухе быстро и весело летали ласточки; бо-

лее десятка сытых и лоснящихся на солнце лошадей гуляли на ободворке. Тимка с женой не выходили у меня из головы. Я решился подсмотреть, что они делают, и потихоньку вошел в кухонные сени, но там на дверях я увидел огромный замок; оставалось одно средство - заглянуть с улицы в окно, но я почему-то совестился это сделать и придумал такого рода хитрость, что взмогнулся на близстоящие около кухни дроги, с которых все было видно, что происходило во внутренности избы: Тимка сидел у стола и смотрел в землю - в лице его, кроме обычной мрачности, ничего не выражалось. На другой лавке лежало что-то наглухо закутанное кафтаном. Я догадался, что это была жена его Марья. Мне сделалось страшно и почему-то показалось, что она умерла и что это был уже только труп ее. Я по крайней мере раз пять влезал на дроги, и в последний раз, наконец, скрылся и Тимка, и только по видневшимся его лаптям я понял, что и он тоже лег, но только вглубь, в куть избы. Между тем Марья не переменяла своего положения, и это окончательно меня убедило, что она умерла. В страхе и не зная, с

кем бы им поделиться, я несколько времени ходил по двору, людей, как всегда это бывало в летнее время, не было почти никого дома, все были на работе, и только из Афимьиной избы слышно было, что Гришка отчаянно рубил котлеты или начинку в пирог, выбивая ножами складно трепака. Я подошел к окну, которое было полурастворено и из которого валил дым и жар.

- Григорий, а Григорий? - повторил я несколько раз.

- Чего вам-с? - отозвался он, наконец, гордо высовывая свою морду в окно.

- Там в кухне Марья лежит: не умерла ли уж она?

- Да с чего ей умереть?

- А что же она все лежит?

- Спит, чай, - отвечал он мне и самолюбивейшим образом повернулся и отошел от окна.

Я простоял на своем месте несколько времени, как опешенный, и за обедом решился наконец свое беспокойство сообщить матери.

- Маменька, Тимофея с женой под караул посадили: ну, как они там умрут? - сказал я.

Мать сначала посмотрела мне в лицо и потом, проговоря: "Какие ты глупости говоришь", - сама вздохнула.

Тотчас же после стола я опять отправился на дроги, и - не могу описать вам моего восторга - Марья больше уж не лежала, а сидела; красивое лицо ее было не столько печально, сколько измято, платок на голове несколько сбит, и рубашка на груди расстегнута.

"А что, Михайло Евплов жив ли?" - подумал я и прямо с дрог пошел в людскую. Изба эта, так как в ней пеклись людские хлебы и варилось для дворовых варево, была самая жарко натопленная и постоянно почти пустая; в этот раз я в ней только и нашел, что десятка три мух, ползавших по столу и подседавших оставшиеся тут крохи хлеба и квасные пятна. Я заглянул за перегородку. Там в зыбке лежал один-одинехонек полугодовой сынишко стряпухи с поднятой почти до самого горла рубашонкой. Только что перед тем, вероятно, распеленатый, он с величайшим, кажется, наслаждением смотрел себе на кулачки и сгибал и разгибал свои ножонки. По веселому личику его тоже ползла муха, и

он от этого только слегка поморщивался. Я сигнал ему эту муху; он еще больше улыбнулся. По стоявшей на голбце кваснице я сообразил, что больной, должно быть, лежит на печке. Встав на нижнюю ступеньку, я потихоньку заглянул туда, но по темноте ничего не мог рассмотреть, и только оттуда сильно пахнуло квашней. Я поспешил слезть и уйти. Целый день я ходил как шальной, не зная, за что бы приняться и что бы начать делать. К вечеру моя детская фантазия еще более разыгралась, и, когда меня уложили в постельку и оставили одного в комнате, мне стало и жаль арестантов и в то же время я боялся их. "Они целый день ничего не ели, и теперь они лежат и им тошно!" - думал я, а потом мне вдруг представлялось, что Тимка непременно выломает окно, вылезет, возьмет топор и зарубит меня и маменьку. Страх этот во мне дошел до того, что я прислушивался к каждому, довольно отдаленному от меня хлопанью дверьми в девичьей, к малейшему шуму в лакейской, наконец, когда явно слышал, что в зале кто-то ходит, я не утерпел, вскочил и выглянул туда.

- Кто это? - произнес я почти обмирающим от ужаса голосом.

- Я это, батюшка, - отвечал мне голос.

Оказалось, что это Афимья пришла в зал молиться.

Я несколько поуспокоился и опять улегся...

IV

Часу во втором ночи тот же Гришка меня разбудил.

- Ступайте в темненькую комнату ночевать-с, - сказал он.

- Что... зачем? - спросил я спросонья и в испуге.

- Исправника тут положат - приехал.

Не поняв хорошенько, в чем дело, я, однако, встал и босиком, в одной рубашонке, завернувшись в одеяльце, прошел по довольно холодному коридору и, укладываясь на новое свое место, разгулялся; в гостиной я слышал, что отец с исправником ужинали. Отец что-то такое вполголоса и, по обыкновению своему, отрывисто рассказывал ему, на что исправник громко хохотал, вслед за тем кашлял, харкал. Остававшееся праздным мое воображение начало представлять себе исправ-

ника огромным мужчиной с огромным животом. Но это оказалось не совсем так: когда я на другой день вышел к чаю, то увидел, что с отцом раскланивался небольшого роста мужчина, с сутуловатым бычачьим шиворотком, широкий в плечах и с широкою львиною грудью.

- Итак, я иду, - говорил он.

- Сделайте одолжение, - отвечал отец рассеянно.

Матушка, разливавшая чай, держала глаза потупленными.

Исправник пошел. Я перебежал в девичью, чтобы оттуда из окна наблюдать за ним. На крыльце его встретил с бляхой на груди и падогом в руке сотский и снял шапку. Исправник сделал усилие приподнять несколько свою сутуловатую голову. Сидевшие на колоде наши мужики-погорельцы при виде его тоже встали и сняли шапки. Исправник сделал еще более усилия приподнять свою голову. Сотский в некотором отдалении и не надевая шапки следовал за ним. Они прошли в кухню. Вскоре после того в кухонные сени вышел Тимофей и сотский, и оба флегматически оста-

новились в дверях на улицу - один у одного косяка, а другой - у другого, и оба ни слова не говорили между собою. Мужиков пять из погорельцев, один за другим, слезли с колоды и разлеглись по траве: пригретые солнцем, они вскоре тут заснули. Тимофея наконец увели в кухню, и вместо него сотский вывел Марью. Она уселась на рундучке и пригорюнилась. Сотский с убийственным равнодушием глядел ей в спину. Я перешел в залу. Там отец ходил взад и вперед, закидывая глаза вправо и влево, разводил руками и что-то такое нашептывал. Мать затворилась в своей комнате и, должно быть, молилась. Ключница Афимья, с явными уже слезами, текшими по ее морщинистому лицу, приготавливала закуску.

Не зная, куда от тоски и скуки деваться в доме, я вышел на улицу. Марьи уже не было на крыльце, и стоял один только сотский, куря из коротенькой, но в медной оправе трубочки и сплевывая по временам сквозь зубы тонкой струей слюну. Я осмелился подойти и заговорить с ним.

- Что там делают? - спросил я его, указывая на кухню.

- Допрашивают-с, - отвечал он мне, осматривая меня с ног до головы.

- Что же допрашивают?

- По делу-с, по поджогу... вы сынок, что ли, здешнего-то барина?

- Сын.

- Похожи маненько на папеньку-то, - заключил сотский и своей зачерствелой рукой погладил меня по голове.

В это время Гришка, в совсем уж дурацкой, с высочайшими воротничками манишке и в сюртуке, далеко сшитом не на его рост, форсисто пронес в кухню закуску с графином водки и с двумя бутылками наливки.

- Вы в горницу взойдите и завтракать ступайте в людскую, - сказал он, проворно проходя и кивая сотскому головой.

Тот стыдливо пошел в девичью, и когда возвратился оттуда, то самодовольно обтирал рукавом усы: видимо, что он получил приличную порцию. Проходя в людскую мимо спящих мужиков и заметно повеселев, он ткнул одного из них своим падожком и проговорил:

- Что ты тут, черт, дрыхнешь?

Мужик приподнял немного голову, взмахнул на него глаза и опять улегся.

Невдолге после того Гришка вынес из кухни закуску обратно, с выпитым почти до дна графином и с объедками пирога и колбасы. Две бутылки наливки остались еще там. Затем сцены на дворе значительно оживились: сначала в сени выбежал длинноносый чиновник, вероятно, писарь исправника, и, видя, что никого тут нет, и проговоря: "Никогда его, шельмы, нет на месте!.." крикнул погорельцам: "Эй, вы, пошлите сюда сотского и приказчика!"

Из лежавших на траве мужиков хоть бы один пошевелился, и только тот же деятельный Спиридон Кутузов, все время сидевший на колоде и что-то такое с жаром толковавший другому мужику, при этом возгласе вскочил и побежал в людскую. Оттуда выскочили и проворно пробежали в кухню наш Кирьян с своей озабоченной рожей и сотский, только что начинавший было багроветь от получаемого им за щами удовольствия. Кирьян, впрочем, вскоре снова показался и начал еще более беспокойными и оступевшими глазами

оглядываться. Заметив возвращавшегося на свое место Кутузова, он подкликнул его и что-то такое сказал ему.

- Да где? - спросил тот скороговоркой.

- Да хоть в саду! - отвечал ему Кирьян тоже скороговоркой.

Кутузов побежал.

Кирьян остался на месте и заметно поджидал его. Спиридон, наконец, возвратился с пучком прутьев в руках.

- О черт, мало! - воскликнул Кирьян, сердито вырывая у него прутья.

- Я еще сбегаю! - подхватил с готовностью Спиридон и опять побежал.

Кирьян стал прутья развязывать на пучки.

- Неровных каких, дьявол, наломал, - говорил он, обшмыгивая и обдергивая их.

Спиридон недолге принес еще большой пучок, и потом они, что-то такое переговорив между собою, скрылись в кухонных сенях, войдя в которые, дверь с улицы притворили.

Я осмелился приблизиться на некоторое расстояние к кухне. Оттуда слышались голос и харканье исправника. Наконец на крыльце показался прежний длинноносый чиновник.

- Пошлите нашего кучера!.. - крикнул он.

Продолжавший сидеть на колоде мужик, кажется, и не понял его.

- Кучера пошли! - повторил ему письмоводитель.

Мужик нехотя встал и пошел на сеновал, с которого вскоре и сошел действительно кучер, с заспанной рожей и с набившимся в включенные волосы сеном, в поношенной казинетовой поддевке без рукавов, в вытертых плисовых штанах и только в новых, сильно смазанных дегтем сапогах. Неторопливой и спокойной походкой, как человек, привыкший к тому, к чему его звали, прошел он в кухню; я догадался, наконец, в чем дело. Ужас овладел мною окончательно: я убежал в свою комнату, упал на постель, закрыл глаза и зажал себе уши!!!

Обедать у нас подали, чего прежде никогда не бывало, часам к четырем, и, когда я вышел в залу, там все уже сидели за столом и исправник, присмакивая и даже как-то присвистывая, жадно ел щи. Матушка, сама разливавшая горячее, грустно и молча указала мне на место подле себя. Письмоводитель исправ-

нический тоже сидел за столом, уткнувши свой длинный нос в тарелку, и точно смотрел в нее не глазами, а этим органом. Отец был в прежнем раздраженном состоянии.

- Этакие злодеи, варвары!.. - говорил он, тряся руками и головой.

Исправник хохотнул слегка.

- Красного петушка это по-ихнему называется пустить... Четвертое дело у меня этакое вот на этом году, - говорил он, едва прожеывая огромные кусищи говядины и хлеба, которые засовывал себе в рот.

- Пятое-с, - поправил его письмоводитель.

- И все бабенки эти?.. Бабенки?.. - спросил отец, продолжая трястись от бешенства.

- Бабенки, да! - отвечал исправник.

Письмоводитель слегка кашлянул себе в руку.

- Одна, по ревности, весь свадебный поезд было выжгла, тремя колами дверь приперла... мужики топорами уж простенок выломали и повыскакали, проговорил он.

- Самих бы разбойников эдаких на огонь!.. Самих бы! - говорил отец, и глаза его, ни на чем уже не останавливаясь, продолжали бе-

гать из стороны в сторону.

Исправник захохотал полным смехом.

- На огонь?.. В подозренье только оставили! - воскликнул он, устремляя на отца насмешливый взгляд. - У нас вор и разбойник запирайся только всегда прав будет! - прибавил он и глотнул, как устрицу, огромную галушку.

- Уездный суд еще на нас представление делал, - заметил по-прежнему скромно, но с ядовитой улыбкой письмоводитель, - зачем мы поезжан под присягой спрашивали: они, говорит, лица, к делу прикосновенные.

Отец несколько раз повернулся на стуле.

- По Кузьмищеву лучше было! - подхватил исправник и в видах, вероятно, вящего внушения взял уж его за борт сюртука. - Есть там Николая Гаврилыча Кабанцова мужичонки - плут и мошенник народишко... приступили они к нему, дай он им лесу. Тот говорит: погодите, у вас избы еще не пристоялись... они взяли спокойнейшим манером, вынесли все свои пожитки в поле, выстроили там себе шалашики, а деревню и запалили, как огнище.

Отец от волнения и гнева ничего не в со-

стоянии был и говорить, а только глядел во все глаза.

- Приезжаю я на место, - продолжал исправник, - ну и, разумеется, сейчас же все и сознались... Николай Гаврилыч прискакал ко мне, как сумасшедший. "Батюшка, - говорит, - пощади; ведь я лишаюсь пятидесяти душ, все на каторгу идут". Так и покрыли разбойников - показали, что деревня от власти божией сгорела.

- Что же, и наша женщина созналась? - спросила матушка, каждую минуту трепетавшая за отца и желавшая на что-нибудь только да переменить разговор.

- Как же-с, совершенно во всем как есть, - отвечал ей исправник с заметной любезностью.

- И муж с ней участвовал?

- Совершенно-с! И труту ей приготовил, и лучины нащепал, и стражем стоял, чтобы кто не подсмотрел их деяний.

- Но что же за причина? - спросила матушка.

- Причина!.. - произнес отец и начал растирать себе грудь рукою.

Исправник пожал плечами.

- Спросим уже об этом... порасспросим, - отвечал он.

- Сам старик, говорят, тут виноват, - пробурчал больше себе под нос письмоводитель.

Отца точно кто кольнул.

- Как старик? - сказал он, кидая на приказного свирепый взгляд; но в это время встали из-за стола.

Исправник расшаркался перед матушкой, поцеловал у нее руку и отправился спать. Письмоводитель тоже пошел уснуть, но только на сеновал, где спал и кучер ихний.

Я вышел на крыльцо и уселся на нем. Ко мне подошла наша дворовая собака Лапка. Я обнял ее. "Лапушка, друг мой, что такое у нас делается?" - говорил я, целуя ее в морду. Она в ответ на это лизнула мне щеку, потом вдруг, завиляв хвостом, побежала от меня к садовой калитке, из которой выходил ее прокормитель и воспитатель по части хождения за утками, тетеревами и белками, наш старый садовник Илья Мосеич, в своем заскорблом от старости сюртуке и в сапогах, изорванных по всевозможным местам и шлепавших теперь

от мокроты. Лицо Мосеич имел несколько французское - с заостренным птичьим носом, с довольно тонкими очертаниями и с небольшими клочками висевших по щекам бакенбард. Он только что сейчас возвратился с рыбной ловли, ради которой, не докладывая даже господам, на собственные свои деньги нанимал у займовских мужиков тони по четвертаку за штуку, имея в этом случае в виду, что прорвало пятковскую мельницу, - и действительно: в три раза было вытащено четыре пуда щук, которые он уже своими руками выпотрошил и посолил на погребе, а в Филиппов пост и объявит матушке, что у него рыбы есть и чтобы она не беспокоилась. Теперь он шел за грибами, и тоже больше для господского продовольствия. Я стал просить его взять меня с собой. Илья Мосеич насмешливо посмотрел на меня.

- Что в лесу хорошего взять?.. Пенья, коренья надо перелезть, нагибаться... Господа любят только грибки кушать за столом, - проговорил он с ядовитой улыбкой.

Я, однако, продолжал проситься и почти насильно пошел за ним. Лапка тоже побежа-

ла за нами.

Илья Мосеич мог быть назван бесценным человеком для отца и матери: кроме уж поставления рыбы и дичи к столу, он овладевал для них и другими благами природы. Наш огромный сад, который давал до пяти тысяч огурцов, до ста арбузов, до ста дынь, ягод разных на несколько пудов варенья, был решительно его трудами создан и поддерживаем. Мало того, он получал еще за него гоненье, особенно когда весной поупросит или понастрашает и заставит дворовых женщин полоть несколько гряд.

- Ты, старая кочерга, все в свое заведение у меня народ отводишь! закричит, бывало, на него отец.

Илья Мосеич обыкновенно в этом случае и не оправдывался, а махнет только рукой и уйдет там у себя за какой-нибудь куст или засядет в грядку.

В торжественные дни, когда Илья Мосеич призывался быть лакеем и когда вместо закорбленной хламиды надевал свой более новый вердепомовый{540} сюртук, сшитый еще по той моде, когда наши входили в Па-

риж{540}, он с особенною важностию, как будто бы это была его собственность, подавал, во-первых, ерофеич, настаиваемый травами его произрастения, потом квас, который всегда заваривал он, а не поваренок, и, наконец, соленье и особенно зелень. Весьма часто, уставляя закуску, он вдруг, сколько бы тут ни было гостей, указывая на редиску, замечал с внушительною миной: "Двадцать пятого апреля снята!"

При таком, по-видимому, страстном усердии к господам Илья Мосеич в то же время не любил их и нисколько уж не уважал, считая себя безусловно умнее их, даже образованнее, так как они хоть и грамоте поучены, но читают в книгах все пустяки, а он читал все книги умные, как, например: о лечении домашних животных купоросом, об уходе за пчелами, о разведении свекловицы. Вступая в разговор с каким-нибудь барином или священником, он никогда почти не говорил прямо, а по большей части рассказывал при этом случае какой-нибудь анекдот или давно случившееся происшествие, из которого уже и выводил, что было ему нужно. Своего брата он тоже

больше презирал и не чужд был посудить о нем, и тоже больше все притчей.

- Фомкино у нас выгорело, - говорил я, едва поспевая за ним идти.

- Д-да, Фомкино выгорело, Бычиха горела, Климцово... Солдатово... и много и долго еще будут гореть русские деревеньки, - произнес Илья Мосеич каким-то пророческим тоном.

После того мы все поле прошли с ним молча.

- Прежде народ лучше был... умнее... мудрецов много было!.. - заговорил он, снова обращая ко мне свое вопросительное лицо.

- Какие же? - сказал я.

- Да вот был царь Соломон, - отвечал он, как бы открывая мне новую Америку, - раз приходят к нему две женщины, две бабы дуры! (Мосеич, не совсем счастливый в семейной жизни и более преданный любви к природе, постоянно отзывался о женщинах с не совсем выгодной для них стороны). Одна из них, по нечаянности, ребенка своего ночью и заспала, а как дело пришло к утру, - мать и чужая про живого ребенка говорят: "Это мой ребенок". Царь Соломон берет сейчас свой

меч: "Хорошо, - говорит, - коли так, я разрублю вам его надвое..." Мать-то настоящая сейчас и откликнулась. "Ай нет, нет! говорит. - Это ее ребенок." - "Нет, - говорит ей царь Соломон, - он твой: ты его жизнь пощадила..." Ей сейчас отдает младенца, а другую велел посадить в острог и на поселенье... Ну, так ведь тоже не все господа цари Соломоны! заключил вдруг старик и внушительно качнул мне головой.

Попавшийся на пути нам сосняк переменял течение его мыслей.

- Забежать тут надо, отварушечек для папеньки к ужину набрать! проговорил он и скрылся от меня.

Я пошел по закраине леса. Мосеич пропал надолго: он забрался, вероятно, в самую глушь; каждая благушка, каждая спорхнувшая птичка обыкновенно занимали его внимание. Я начал, наконец, аукаться и выкликать его и только уж через полчаса сошелся с ним на небольшой открытой поляне. У него была почти полная корзинка грибов, а я всего нашел три или четыре гриба.

- Только-то? Мало же, - сказал он, кидая их

с пренебрежением в свое лукошко, - кабы вы не барчик были, а дворовой мальчишка, вас бы за это наказали... и больно... да еще сказали бы, что вы где-нибудь в поле, под кустом, припрягали для бабки и матки.

Я слушал его, далеко еще не понимая, сколь ядовито он для меня говорил.

- Господа говорят, - продолжал Мосеич более уже серьезным тоном (он вообще любил со мной поговорить и нисколько уж не церемонился), - говорят, что мы другого рода - Хамова, а они - от Авеля. Это так, положим! Но ведь иногда и комар лишает жизни льва - все приставать к нему будет, над ухом звенеть, а убить-то тот его не может!.. Мал очень... увертывается... лев терпел-терпел и, наконец, сам себя от гнева загрыз; и это не то, что выдумка какая, а настоящее было.

- Это басня, - возразил было я.

- Нет, настоящее! - повторил настойчиво Мосеич. - В Абаховском приходе теперь жил помещик по фамилии Хитрецов, еще маненько и сродственник вашему дедушке. Как вот в сказках сказывается о могучем Змее-Горыныче или вепре диком, так и он, пожалуй, был, а

после того попался же из-за нашего брата...

На последних словах у Ильи заметно появилась в лице какая-то насмешливая радость; я же, с своей стороны, окончательно переставал понимать, что такое и к чему он все это говорит.

- Или теперича, господи ты боже мой! - продолжал он, пожимая уж плечами и пришедши, видимо, в экстаз своего мышления. - Иностранцы вон к нам разные, венгерцы ходят с духами и лекарствами. "Русска, - говорит, - человек глуп, не может ничего делать". - "Как, - говорю, - постой, брат мусью", - и сейчас нарвал самых простых цветиков и поднес ему к носу. "На-ка, говорю, сделай мне такие духи; а как ты-то носишь, так и я сделаю; да не хочу, потому что и землю и хлеб имею, а ты к нам с голоду пришел: мы к вам не ходим, как незачем".

Мосеич, при всем своем несколько мизантропическом взгляде на вещи, был постоянно большой патриот.

Мне между тем хотелось уж чаю. Я сказал ему о том.

- Пойдемте! - отвечал он мне несколько на-

смешливо. - Баре-то, подумаешь, - начал он после короткого молчания, - поутру чай пьют, кофей, обедают... потом опять чай, ужинают; а мы-то, грешные, едим когда попало и что ни попало.

Дорога, ведущая обратно в усадьбу, открылась перед нами, извиваясь лентой по зеленевшему озимову полю. Лапка, тоже откуда-то появившаяся и только что, вероятно, перед тем придавившая какого-нибудь зазевавшегося зайчонка, была с окровавленным рылом и весело начала прыгать около Мосеича, подскакивать к его руке, лизать ее.

- Вон она, тварь бесчувственная? - сказал он, показывая мне ласково на нее. - А если теперь ладно к птице подошла, прибей ее, поколоти тут, другой раз она все дело испортит: и вертеться станет, и бояться, тревожиться.. Человек же и подавно: без вины его наказать - не на хорошее, а больше на худое направит - другой с отчаянности бог знает что накуролесит, как и Машка наша теперь!

- А Марью разве наказывали? - спросил я, обрадованный, что разговор, наконец, склонился на понятный для меня предмет.

- Н-ну! - произнес Илья Мосеич протяжно. - Рано еще вам все знать, молоденьки вы! - прибавил он полушутливо и полунаставнически.

С небольшого пригорка, на который мы вскоре взошли, нам кинулось в глаза довольно уже низко стоявшее солнце. Кверху оно бросало, точно стрелы, золотые лучи, а внизу освещало сзади деревья нашей березовой рощи, которые в весьма заметной перспективе, отделяясь одно от другого, трепетали в воздухе своими зелеными листочками.

Илья Мосеич несколько времени стоял в умилении перед этой картиной.

- Батюшка - наше солнышко! - заговорил он, качая головой. - Всем оно одинаково светит: и большому дереву и малому, и худой траве и хорошей, - а господа так нет, ой, как нет! Только и любят и уважают, что богатых своих подчиненных: они у них умные, и честные, и добрые, а спросил бы, что такое значит богатый мужик. Наипервая bestия изo всех; потому что где мужику взять: он и барину подай, и в казну, и в мир. А руки-то всего две - значит, когда хочешь богатеть, - плутуй! И ес-

ли теперь наш брат разбогател, разве доброе и хорошее он творить станет, - жди того, как же, пить да жрать, да... В священном писании именно про мужиков, должно быть, сказано, что легче борову свиному пройти в игольные уши, чем богатому в царство небесное, потому что он, аки сатана, со всеми смертными грехами путами спутан.

Сказав это, Илья вдруг остановился. Мы были почти у самого тына нашего сада.

- Вы ступайте дорогой, а я вот туда посекретней проберусь, а то папенька, пожалуй, увидит. "В эдакое, - скажет, - время, бестия, за грибами ходишь".

Проговоря это, он юркнул в нарочно и, вероятно, издавна уже сделанную лазейку, глухо-глухо заросшую всякого рода зеленью, а потом стал пробираться по самой темной аллее, нагибаясь и прячась за деревья.

"Что это папенька, зачем бранит Илью, - он такой славный", - подумал я, обходя сад кругом.

В воротах усадьбы я увидел, что со двора съезжал исправник в легоньком тарантасе, на тройке с расписной дугой, с колокольцами

и бубенцами, с ухарски развязанными на троках пристяжными, которые своими обозленными мордами только что не хватали земли. Я оробел и поклонился ему.

- Прощайте, душенька! - проговорил он, делая мне рукой.

Сидевший рядом с ним письмоводитель тоже слегка приподнял фуражку и поклонился, но только не глядя на меня. Вслед за тарантасом ехал на крестьянской лошади и в навозной телеге Спиридон Кутузов, еле-еле припустившийся на кое-как сделанной в передке беседочке, на которой, заняв гораздо большее пространство, помещался также и сотский, оборотясь лицом к заду. В самой телеге сидели, и вряд ли не привязанные к ней, Марья, покрытая, как повитая невеста, с головы до ног в какую-то крашенину, и Тимофей, тоже с потупленной вниз головой и в нахлобученной почти на самые глаза шапке. В усадьбе было совершенно пусто, и только перед растворенной уж кухней Гришка огромным топором рубил дрова, закусив язык на правую сторону и каждый раз прикряхтывая, видимо, желая тем показать, что он мастер и молодец

на это дело. Я прошел через заднее крыльцо в дом и застал там страшную сцену: отец, с пеной у рта, ходил по комнате.

- Меня обмануть? Меня?.. Меня? - кричал он, закидывая голову назад и как бы вопрошая самый воздух.

Матушка, сидевшая тут же в гостиной и при всех его вспышках всегда старавшаяся сохранить присутствие духа, на этот раз едва владела собой.

- Я удивляюсь, как ты этого не знал... я давно это знала, - проговорила было она.

- А, ты знала! Ты знала! - вскричал отец, подбегая уж к ней. - Отчего ж ты мне не сказала? Отчего? - прибавил он, отступая от нее на несколько шагов и выпрямляясь, точно готовый сейчас же произнести ей смертный приговор. - А, ты госпожа, помещица здешняя! Ты все можешь знать и все располагать; а я нищий... голыш, приведенный сюда так... Христа ради? Врете! Я господин всем вам: и тебе и твоей челяди!

Матушка пожала плечами, и на глазах ее навернулись слезы: это оскорбление было самое горькое и обидное для нее.

- Из чего ты беснуешься, я понять не могу, - сказала она.

- Ты не понимаешь - да! Не понимаешь, что я, может, и двух его первых сношенок погубил... и этих несчастных наказывал; всегда держал его руку... на эшафот их теперь возвел... Какими молитвами отмолить мне у бога эти мои прегрешения?.. Какими?..

- Но ведь ты сам говоришь, что не знал этого.

- Что же, я и теперь не знаю!.. Я сам, своими глазами, видел ее показания... он ей проходу не давал - все адресовался, а что она "нет", так бил ее и сына. Мне и идти теперь благодарить его: благодарю, батюшка Михайло Евплыч, покорно, что вы развратили всю вашу семью и мне случай в том поспособствовать вам дали.

- Его и без тебя уж бог покарал, потом накажут и по закону, по суду! заметила кротко матушка.

- А, да! По закону, по суду, - вот что! - воскликнул старик с ожесточенным смехом. - А ты слышала, что исправник говорил? Слышала? Есть у тебя уши? Так нет же! Врете, я его

накажу! Я!.. Кирьяна мне!.. Кирьяна...

Последние слова он едва уже выговаривал.

Припадок гнева в этот раз так был силен в нем, что даже матушка встала и ушла от него.

- Пошлите к барину Кирьяна, - сказала она, проходя девичью и сколько только могла спокойно, горничным девушкам.

Те побежали.

Я, все время тихонько сидевший в зале, плача и обмирая от страха, решительно не знал, что мне с собой делать.

- Кирьяна... Кирьяна! - продолжал между тем шептать отец, скрежеща зубами и сжимая кулаки.

Через несколько минут Кирьян, позеленевший от страха, стоял перед ним.

Отец так и впился в него глазами.

- Возьми сейчас, - заговорил он прерывающимся голосом, - этого Евплова... стащи его за волосы с печи... кинь его в телегу и вези за исправником... скажи, чтоб его на поселенье взял... Не надобно мне его... Писать я теперь не могу, после все напишу... после...

Кирьян хотел было поскорей убраться.

- Но если же ты его не довезешь, если не

отдашь там, я тебя самого убью и растерзаю, - закричал уж на него безумный старик и побежал было за ним.

- Помилуйте-с! Сейчас все исполню, - отвечал тот, едва успевая затворить перед ним за собой дверь, и потом действительно никто уж и не видал, как он собирався, захватил с собой Михайла и уехал.

Отец между тем возвратился в гостиную и, тяжело дыша, опустился на диван. Несчастные припадки гнева всегда кончались для него ужасно: его обыкновенно оставляли одного в комнате, притворяли в ней дверь и подавали ему только холодной воды. Все это повторилось и теперь. Мать пересела к дверям гостиной, чтоб прислушиваться, что там будет происходить. Я поместился около ее колен и стал целовать ее руки.

- Для тебя только, друг мой, и желаю я жить на свете, - проговорила она, поцеловав меня в голову и отерев катившиеся по ее щекам слезы.

Я разрыдался окончательно, так что она едва утешила и успокоила меня.

К вечеру по дому распространился новый

ужас: исправник не принял Михайла Евплова, говоря, что он стар идти на поселенье.

- Батюшки! Отцы мои! Что теперь будет? - провонила даже старуха Афимья, более всех привычная к гневу барина и всегда с каким-то стоическим спокойствием его переносившая.

Кирьян, привезя Михайла Евплова назад, не распрягая лошади, убежал в лес, говоря, что он и не придет, пока барин гневаться будет. Сказать отцу о решении исправника осмелилась, разумеется, одна только матушка, но я видел, чего ей это стоило: вся взволнованная и беспрестанно обращая взор на образ, она несколько раз подходила к гостинным дверям и, наконец, уже вошла. Я бросился за ней и приложил глаз к замочной скважине. Что она там сказала, я не слышал, но только отец вдруг поднялся.

- Хорошо, я сам его упрятаю, - сказал он по наружности спокойным, но в самом деле еще более раздраженным голосом, - велите коляску мне заложить, а мерзавца этого, скажите, чтобы везли за мной в полуверсте.

Матушка беспрекословно исполнила его

приказание. Часов в двенадцать ночи он уехал. Два дня, пока его не было, она была на себя не похожа, беспрестанно тревожилась и все чего-то ожидала. Наконец отец возвратился и был совсем уж больной. Его прямо привели в его комнату. Он тосковал и стонал на весь дом.

- Что, папаша чем болен? - спросил я мать.

- Обыкновенно, как и всегда, мучится и терзается... сам наказал, а теперь и жалеет всех... - отвечала она.

С детской души моей, как перестали на нее действовать неприятные впечатления, сейчас же все и слетело: на другой день я уже спокойнейшим манером пахал сохою собственной работы на Гришке грядку в саду, и, что всего удивительнее, этот малый, лет почти восемнадцати, с величайшим наслаждением играл со мной в эту игру, непременно требуя, чтоб я его взнуздal, и чем глубже я упираю соху в землю, тем старательнее и рьянее он вез ее. К нам подошел Мосеич с лейкою в руке.

- Землю пахать - самое приятное для бога занятие, - сказал он.

- Приятное? - переспросил я, очень доволь-

ный, что он хвалит мою выдумку.

- Да!.. И если бы вот даже этот дурак Евплов не мытарничал, а кормился бы больше, как следует мужичку, землицей, не был бы там, куда угораздился.

- А куда его, дядюшка, барин увез? Далече ль? - спросил уж Гришка.

- Далече, в место хорошее, - сказал Илья и скрылся за одной из куртин.

V

Начинало темнеть, когда я в нынешнем году подъезжал к Фомкину. Рядом со мной в коляске сидел приказчик мой Семен, ужасно конфузясь, ежась, отодвигаясь от меня и боясь, кажется, прикоснуться одной точкой своего кафтана ко мне. Измученные извозчицьи лошади легонькой рысцой тащили нас в гору.

Я оглядывал окрестность; все было очень знакомо: при въезде в село покачнувшаяся на сторону и точно от сотворения мира тут стоявшая толчая, а подальше небольшая площадь, на которой собирался по праздникам народ; в стороне от нее дом священника, несколько побольше и покрасивей других, на погосте деревянные кресты и единственный

каменный памятник на могиле моего деда и, наконец, сама белая церковь. С какой-то болью врывались мне в сердце воспоминания: мы... мне лет восемнадцать... у прихода... день такой, кажется, восхитительный; толпа народа кипит перед храмовыми воротами. Она тоже в церкви... это можно догадаться по уродливому экипажу и по тройке вятских лошадок, стоявших у дома отца диакона. Я иду в церковь. Сердце мое так и рванулось от правого клироса, около которого я стал, к левому; накуренный ладан кажется мне величайшим благовоением, иконостас великолепным, а она, в белом платье и белой шляпке, превышает всех красот земных. Но между тем что было во всем этом: и в ней и в самом народе?.. Ничего, кроме моей молодости!.. Хоть бы один день, один час того счастья, с которым изживались прежде целые недели, месяцы, и за это возьмите все, что впереди, где только и мелькают, как фурии, ниспосланные вас терзать, недуги тела, труды и скорби наболевшей души вашей и целое море житейских нужд и забот.

- А что, - обратился я к Семену, - будет у нас

в Фомкине по пяти десятин на душу?

- Будет, кажись! После одного снохача теперь земли-с пустой стоит тягол на пять.

- Какого это снохача? - спросил я, смутно припоминая все, что сейчас рассказал.

- Крестьянин ваш бывший, - отвечал Семен, - папенька ваш тогда разгневался на него и продал его. Всего за десять рублей ассигнациями и уступил-с.

- За десять?

- Да-с, - отвечал Семен и потом с обычной своей скромностью слегка польстил мне: - Ведь не так, как вы-с: покойник, бывало, рассердится, так точно рассудку лишался, а после все у них отойдет это.

- Отойдет?

- Все-с! И чем уж они тут человека ублажить не желают: тогда за Михайла Евплова-то сноху и сына при мне-с... мальчиком я ездил с ним... давали исправнику тысячу рублей, чтобы их ослободить от поселенья. Ну, да тот тоже не взялся. "Я губернатору уж, - говорит, - описал о том".

- А Михайло Евплов кому был продан? - любопытствовал я.

- Да так тут, в Зеленцине, был дворянишко самый бедный; почесть, что ни самому, ни прислуге есть было нечего: Михайла Евплова стал уж в пастухи отдавать... в семьдесят-то лет за телятами бегать... Папенька ваш жалел тогда старика. "Откуплю, - говорит, - его назад: хоть пятисот рублей на то не пожалею" - ну, да тот помер тоже невдолге.

- А за что отец так рассердился на него? - спросил я.

Семен несколько смешался.

- Глупости разные у себя в семействе заводил-с... - отвечал он с расстановкой. - Младшая-то сношенка попалась женщина честная, не захотела того.

- А здесь это в заведении? - заметил я.

- Есть-с! - отвечал Семен таинственно.

- Да как же они это делают?

- Да кто ж им может в том воспрепятствовать! - возразил он мне с некоторым даже одушевлением. - Батько, родитель - одно слово, и который особливо теперь побогачей, так в дому-то словно медведь корежит: и на работу посылает, сколько ему надо, и бьет, особливо этих женщин и малолетних, чем ни попа-

ло... Ужасные злодеи и тираны-с!

Мы въехали в усадьбу. Несколько человек дворовых, и все больше старики, встретили меня. Совсем сгорбленный и почти уже слепой Кирьян высадил, однако, меня из коляски под руку. Две женщины, тоже старухи, проговорили: "Ну, вот, батюшка, дождались мы и вас!" Я прошел в дом и, увидя отворенный балкон, не утерпел и вышел на него посмотреть на сад - он точно весь почернел и совершенно заглох по всем некогда прозрачным и зеленым аллеям. На куртинах и на лугах росла такая дичь-трава, что и взглянуть было неприятно. Все это некогда обряжавший и приводивший в порядок Илья Мосеич давно уже умер и, вероятно, сам составлял какую-нибудь часть той природы, которую так любил. Сойдя с балкона, я прошелся по гостиной, где сердился отец, заглянул в спальню, где скучала и молилась мать, и, наконец, в свою темненькую комнату.

Чтобы оторваться от этих хоть и дорогих, но все-таки тяжелых воспоминаний, я велел себе постелю приготовить в зале, как самой пустой комнате и более похожей на сарай,

чем на жилое место; но заснул только утром, чувствуя, что руки и ноги у меня холодеют, а на лбу выступила холодная испарина. "О, если бы забыть прошедшее и не понимать будущего!" мерещилось мне в тревожном сне.

ПРИМЕЧАНИЯ

БАТЬКА

Впервые рассказ напечатан в журнале "Русское слово" за 1862 год (кн. 1, январь) с датой: "27 октября 1861 г. С.-Петербург".

Рассказ был перепечатан в четвертом томе издания Стелловского с небольшими поправками. Отметим лишь одно существенное исправление: в конце третьей главы после слов "Я несколько поуспокоился и опять улежся..." (стр. 534) в тексте "Русского слова" была фраза, не вошедшая в текст издания Стелловского: "Зарождающийся ипохондрик, видно, и тогда уже во мне начинал наклеиваться".

Рассказ был опубликован в самый разгар скандала, вызванного фельетонами Никиты Безрылова, и поэтому не был отмечен критикой тех лет.

В настоящем издании рассказ печатается по тексту: "Сочинения А.Ф.Писемского", изда-

ние Ф.Стелловского, СПб, 1861 г., с исправлениями по предшествующим изданиям, частично - по посмертным "Полным собраниям сочинений" и рукописям.

Стр. 523. Ревизские сказки - списки, составившиеся во время переписи (ревизии) лиц, подлежащих обложению подушной податью; в данном случае списки крепостных мужского пола.

Стр. 540. Вердепомовый - светло-зеленый (буквально - цвета зеленого яблока).

...когда наши входили в Париж... - После разгрома наполеоновских армий в России русские войска продолжали преследовать войска Наполеона. В 1814 году русская армия вступила в Париж.

М.П.Еремин